

В.А. КОЗЛОВ

Социум в неволе: конфликтная самоорганизация лагерного сообщества и кризис управления ГУЛАГом (конец 1920-х – начало 1950-х гг.)

Статья 1*

Наиболее яркое и изученное явление в истории ГУЛАГа – волна массовых выступлений заключенных на рубеже 1940–1950-х гг., достигшая апогея уже после смерти И. Сталина. Она стала выражением кризиса сталинского "террористического социализма", исподволь назревавшего в течение десятилетий. Акты неповиновения, бунты и восстания наглядно показали руководству страны, что ГУЛАГ "выпал из времени", стал пережитком мобилизационной экономики эпохи форсированной индустриализации, превратился в заповедник профессиональной преступности. Хаос, охвативший систему принудительного труда, нанес удар по картине мира сталинской бюрократии, по "рабскому укладу" советской экономики, в котором постоянно было занято несколько миллионов заключенных, ссыльных, спецпоселенцев и сотни тысяч тех, кто их охранял и "трудоиспользовал". Беспорядки, в которых участвовали все категории заключенных, ставили под угрозу строительство и эксплуатацию важнейших народнохозяйственных объектов (железные и шоссейные дороги, каналы и шлюзы, гидроэлектростанции), добычу и первичную переработку полезных ископаемых, лесозаготовки, строительство военных объектов в климатически неблагоприятных зонах и т.д., создавали угрозу социальной стабильности и политической устойчивости режима.

Все эти события разворачивались на фоне "холодной войны" и локальных вооруженных конфликтов (в Корее), нараставшего сопротивления сталинизации в странах Центральной и Восточной Европы. Берлинское восстание 1953 г. не просто совпало по времени с массовыми выступлениями заключенных Горного и Речного особых лагерей, но и оказало влияние на выбор тактики и формы протеста. В конечном счете, волнения в лагерях не только донесли до высшего руководства СССР один из самых

* Статья представляет собой сокращенный и переработанный вариант введения к сборнику документов "Восстания, бунты и забастовки заключенных ГУЛАГа", подготовленного в рамках совместного проекта Федеральной архивной службы РФ, Государственного архива Российской Федерации и Гугеровского института войны, революции и мира "История сталинского ГУЛАГа" (в 6 т.).

Исследовательская часть работы на тему "Социальная история ГУЛАГа после смерти Сталина: формирование новой репрессивной политики и судьбы заключенных. 1953–1960 гг." (A Social History of the Gulag after Stalin's Death: The Emergence of a New Repressive Policy and the Fate of the Prisoners, 1953–1960) выполнена при поддержке Фонда Гарри Фрэнка Гугенхайма (Harry Frank Guggenheim Foundation).

громких сигналов о необходимости изменения репрессивно-карательной политики, но и заставили задуматься о модификации всей сталинской политической модели.

Массовые выступления и протесты заключенных были ударом по порядку управления в лагерях¹ и подрывали устойчивость системы в целом. Независимо, каковы были цели заключенных, насколько сознательно они действовали, в какой мере совпадали личные планы зачинщиков беспорядков и тех, кто был лишь пассивным участником событий. Главное, что по меркам советского уголовного кодекса и в соответствии со сталинской уголовной практикой подобные действия в конечном счете оценивались как опасные государственные преступления, дезорганизовывали процесс выполнения ГУЛАГом его важнейшей – производственной – функции.

Но при этом надо учитывать, что организация забастовки или восстания в особом режимном лагере – явление исключительное. Она предполагала уникальное сочетание причин и предпосылок – *политических* (благоприятная внешняя ситуация – война, смена правителя или режима), *организационных* (наличие сплоченных неформальных групп, авторитетных руководителей и/или организованного подполья), *идеологических* (осмысленные и достижимые, хотя бы гипотетически, цели и мотивы массовых действий), *социально-психологических* (опыт успешных протестных действий и/или действие будоражающих факторов – несправедливая смерть товарища по несчастью, насилие в отношении узников, превышающее лагерный "обычай"), наконец, условно говоря, *физиологических* (голод, истощение, болезни отбирали все силы заключенных и практически полностью исключали возможность коллективного организованного длительного и целеустремленного протеста).

Существовали и другие формы организованной протестной активности заключенных – волынки, бунты, коллективные отказы от работы или от приема пищи. Они представляли собой органичную, естественную и *традиционную* часть лагерного быта. Для них не требовалось ни тщательной подготовки, ни особой идеологии, ни даже формулирования далекоидущих целей. В ряде случаев достаточно было острой спонтанной реакции на конкретные обстоятельства лагерной жизни либо наличия организованной группы заключенных, претендующих на особую роль и привилегии. Борьба различных лагерных группировок – политических, этнических ("чечены", "кавказцы") и этнополитических (украинские и прибалтийские националисты), чисто уголовных (воры-"законники", "отошедшие", "махновцы", "беспредельники") – за контроль над местами заключения, их столкновения друг с другом и с администрацией, коль скоро эти явления принимали массовые формы и осознавались властями как чрезвычайные происшествия, достойны изучения и описания *не меньше*, чем "чистое" политическое сопротивление в лагерях.

Протест, самозащита и борьба заключенных за коллективное выживание никогда не были и не могли быть политически и морально стерильными, хотя этот аспект зачастую игнорируется в историографии. Способы действия и мотивы людей, вовлеченных в их орбиту, порой невозможно однозначно квалифицировать как "высокие" или "низменные". Но все эти события, независимо от мотивов своих "актеров" и "авторов", разрушали и разлагали ГУЛАГ как производственный организм и репрес-

¹ Понятие "порядок управления" использовано здесь в более широком смысле, чем в УК РСФСР и других союзных республик. В реальной жизни "порядок управления" ГУЛАГом включал в себя как юридически оформленные положения, регулировавшие жизнь лагерей, так и практику, традиции, административный "обычай" и определенный образ жизни, далеко выходящие за рамки юридического прототипа, но насаждаемые или используемые лагерной администрацией для своих целей. Нигде и никогда официально не говорилось, например, об использовании криминальных группировок и уголовных авторитетов для контроля над поведением заключенных и организации производства. В реальной жизни симбиоз лагерной администрации с уголовной верхушкой (с теми, кто открыто отошел от "воровского закона" и встал на путь сотрудничества с "лагерным начальством" – так называемые "суки") и, при определенных условиях, с "волами в законе" был одним из ключевых компонентов системы управления исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ).

сивную машину, как сферу принудительного труда, безнадежно ретроградную, политически недолговечную, экономически неэффективную и человечески неприемлемую. Отворачиваясь от многочисленных "низменных" форм выступлений заключенных (столкновения криминальных группировок, организованные воровскими авторитетами волынки и голодовки, стихийные бунты и т.п.), невозможно создать адекватный образ сталинского ГУЛАГа как особого социума и государственного института, выполнявшего функцию специфического депозитария нерешенных и (или) неразрешимых социальных, экономических, политических, культурных и национальных проблем.

Благодаря великой книге А. Солженицына в 1970-е гг. Архипелаг ГУЛАГ вошел в мировой исторический и культурный опыт как универсальный символ тотального зла. Но это художественное исследование опиралось почти исключительно на мемуарные свидетельства бывших узников. Неудивительно, что писатель не мог с точностью восстановить действительный ход тех или иных событий. Более того, он был вынужден восполнять дефицит достоверной информации логическими умозаключениями и художественной интуицией. Этот способ реконструкции событий был единственно продуктивным для условий, в которых создавалось произведение. Именно Солженицын заложил основы систематического изучения истории ГУЛАГа, блестяще сформулировав узловые вопросы и ключевые темы. В определенном смысле его труд можно сравнить с первыми мореходными картами: при всей неточности тех или иных конкретных сведений он превратил историю ГУЛАГа из "*terra incognita*" в реальное, интеллектуально постигаемое пространство, в факт мировой истории.

Политические изменения в СССР во второй половине 1980-х гг. вызвали волну общественного интереса к истории сталинских лагерей, однако сами по себе не могли создать *фактографии*, необходимой для научной разработки темы. Вплоть до середины 1990-х гг. интерес к проблеме, которая была сформулирована (не вполне корректно) как "сопротивление в ГУЛАГе", явно опережал приращение нового знания. Важнейшим фактором перестроечной и постперестроечной общественной жизни, равно как и значимым фактом российской историографии, стала новая (легальная!) жизнь в России книги Солженицына. Ее цитировали и упоминали практически все авторы, создававшие новую российскую историографию ГУЛАГа.

Для многих российских читателей Солженицына проблема в конечном счете свелась к тому, что в лагерях сидели невинные люди. Коль скоро после смерти Сталина невинных выпустили, значит, и проблема перестала существовать. Поэтому выросший из художественного анализа сталинского и послесталинского ГУЛАГа идейный антикоммунизм писателя показался многим читателям скорее идеологическим кокетством, чем обоснованной моральной позицией. Ведь если значительная часть заключенных была самыми настоящими преступниками и сидела "за дело", то с какой стати осуждать "ужасы ГУЛАГа" и говорить о нем как о результате и источнике разрушения моральных устоев российского общества?

Вообще говоря, Солженицын в своей книге уже ответил на эти вопросы, вплетая в повествование многочисленные "истории жизни" узников. Профессиональная история ни в 1980-е, ни в 1990-е гг. не смогла создать "научного" эквивалента такому описанию. Все попытки вели либо к "ухудшенному Солженицыну", вторичность которого маскировалась правильно оформленными сносками на архивные документы, либо к "ревизии" Солженицына, поскольку статистика показала, что количество политических узников было значительно меньше, чем утверждал писатель.

Понимая примитивность подобной "критики", несводимость проблематики ГУЛАГа к численности его населения или к спорам об организованном или спонтанном характере сталинского террора, наиболее мудрые из историков-профессионалов сосредоточились на истории принятия решений, связанных с репрессиями, реконструкции самого механизма этих репрессий, на анализе экономической и социальной функций ГУЛАГа в советской системе, а также на издании справочников [Попов, 1992; Система... 1998; Хлевнюк, 1992^а; 1992^б]. Особое значение имел вывод о кризисе ГУЛАГа, сформулированный рядом историков независимо друг от друга. Начало этого кризи-

са, одной из составляющих которого была волна массовых беспорядков, групповых неповиновений, забастовок и голодовок, относили то к концу 1940-х гг., то к началу 1950-х гг. [Кравери, Хлевнюк, 1995; Система... 1998].

Для большинства работ российских историков конца 1980-х – начала 1990-х гг. было характерно предельное упрощение проблематики ГУЛАГа и увлечение реконструкцией фактов на основе рассекреченных архивных документов. В результате произошло профессиональное погружение в фактографию ГУЛАГа, но был утрачен сложени- цынский "синкретизм", сфокусировавший все проблемы социального и индивидуально- го бытия человека сталинского и отчасти послесталинского общества. Взаимосвязь "государство–общество–ГУЛАГ" выпала из сферы конкретного анализа и преврати- лась в предмет спекулятивных рассуждений. Сама же история Главного управления ла- герей и колоний оказалась представленной двумя типами описаний – как история влас- ти и как история ее жертв. Очевидная для всех связь между историей власти, социаль- ной историей и историей личности фактически осталась нереконструированной. А без решения этой ключевой задачи "провис" важнейший вопрос истории российской госу- дарственности и российского социума: *как именно и почему ГУЛАГ перерос рамки традиционного узилища и превратился в социальную клоаку, заражавшую общество продуктами своего разложения еще долгие годы после смерти Сталина?*

Героическую попытку преодолеть ограниченность профессиональной историогра- фии ГУЛАГа предприняла историк Г. Иванова. Но отметив изначальноную узость рас- смотра ГУЛАГа "в качестве пенитенциарной системы", она впала в другую край- ность, принципиально отвергая традицию описания ГУЛАГа как зеркального отраже- ния "воли" (И. Солоневич) или "самого точного воплощения создавшего его государства" (Ж. Росси), что, кстати говоря, не одно и то же. Воспроизведя внешнюю сторону превращения "системы исполнения уголовного наказания" в "мощный лагерь- но-промышленный комплекс", справедливо объявив ГУЛАГ "многосторонним, мно- гомерным социально-экономическим объектом", Иванова так и не объяснила, как и каким образом организация, предназначенная для борьбы с социальными болезнями и защиты общества, превратилась в угрозу существованию этого общества, почему с конца 1940-х гг. столь важная часть государственной машины начала в катастрофиче- ских размерах воспроизводить то, что я бы назвал *геном антигосударственности*, и в чем же все-таки суть механизма отторжения ГУЛАГом предписанных ему уже при Н. Хрущеве воспитательных функций? [Иванова, 1997; 2002, с. 14–15; Ivanova, 2000].

Оставив фактически без ответа собственный вопрос об "адекватности" ГУЛАГа со- ветскому обществу и сталинскому государству, принципиально важный для понимания природы массовых выступлений заключенных против порядка управления в лагерях, Иванова, тем не менее, имплицитно зафиксировала проблемную ситуацию в историо- графии ГУЛАГа. Это неочевидное *историографическое событие*, закамуфлирован- ное у нее многочисленными лексическими и терминологическими небрежностями, сама Иванова попросту не заметила. Какая, казалось бы, разница между выражениями "формы борьбы заключенных против нарушений законности со стороны лагерных служащих" и "формы и методы сопротивления лагерному режиму", употребленными к тому же в одинаковом контексте (антигуманный характер условий содержания) и фак- тически использованными как синонимы? А разница есть – и существенная. Например, так называемые "бандитские проявления" в лагерях и колониях, организованные про- фессиональными преступниками ("законниками" или "отошедшими" – неважно), име- ли все признаки "сопротивления лагерному режиму", но далеко не всегда подходили под борьбу "против нарушений законности". Более того, эти "проявления", принимав- шие порой формы лагерного терроризма, часто были органичной составной частью "негуманных условий содержания". То же самое можно сказать о систематических столкновениях преступных группировок, жертвами которых прямо, в результате при- менения физического насилия, или косвенно, взяв на себя вину за чужие преступления и/или участвуя в волынке, становился "работающий контингент" – "бытовики" и часть политических. И если в одних случаях массовые протесты заключенных после смерти Сталина были действительно спровоцированы "отсутствием борьбы с лагерным бандитизмом и терроризмом", как об этом пишет Иванова, то в других массовые

протесты против режима содержания сами по себе были "лагерным бандитизмом и терроризмом" [Иванова, 2002, с. 11].

Когда Иванова объясняет "массовые драки между заключенными, в которых гибли десятки человек", провокациями "местного начальства", стремившегося "скрыть истинные причины массовых протестов", она описывает лишь один срез гуглаговского бытия. Другой, включавший, например, пресловутую войну "сук" и "воров", достигшую своего пика после смерти Сталина, так и не получает объяснения (как и чисто террористические методы, к которым прибегали украинские националисты в борьбе не только со стукачами или лагерной администрацией, но и с любыми конкурентами в борьбе за власть над зоной, в конечном счете, за более благоприятные условия "отсидки") [Иванова, 2002, с. 11]. Многие заключенные вообще боролись не против режима содержания, а против "беспредела" администрации и группировок заключенных, за выполнение установленного законом режима содержания.

Считая преждевременным предложение методологического выхода из подобных историографических коллизий, отмечу бесспорное: историография все еще предельно сужает проблематику конфликта "власть–заключенные", так же как и внутренних конфликтов в гуглаговском социуме, загоняя их в достаточно узкие рамки модели политического сопротивления, отчужденно отворачивается от традиционных форм *уголовного сопротивления* сталинской пенитенциарной системе. Однако общеизвестно, что три четверти узников ГУЛАГа в сталинское время были осуждены не за политические, а за общеуголовные преступления, а большая часть столкновений с лагерной администрацией с конца 1930-х гг. не может идентифицироваться с деятельностью политических заключенных и даже с осмысленными выступлениями, направленными на достижение конкретных целей. Если бы ГУЛАГ был просто местом изоляции преступников (узилищем), а не гигантским и значимым для сталинского режима производством, "политический" подход к проблеме был вполне оправдан. Однако существование "принудительного уклада" в экономике сталинского социализма ставит выступления, волынки, бунты и беспорядки обычных уголовников в контекст развития, разложения и деградации сталинской социально-политической и экономической модели, в каком-то смысле в контекст "борьбы" с системой.

Методологическая наивность историографии 1990-х гг. не помешала ей добиться определенных успехов как в издании мемуарных источников по истории политического сопротивления в ГУЛАГе [Нильский, 1991, с. 79–100; Печальная... 1991, с. 328–344; Сопротивление... 1992], так и в реконструкции событийной канвы массовых протестов и выступлений заключенных сталинского ГУЛАГа [Восстание... 1994⁶, с. 33–81; Россия... 2000; Кравери, 1995; Craveri, Formozov, 1995]. Важную роль в обобщении и систематизации материала сыграла обзорная статья И. Осиповой "Сопротивление в ГУЛАГе", основанная на данных архива МВД, и материалах, собранных Н. Формозовым. Это была одна из первых попыток расширить традиционную для старой историографии ГУЛАГа мемуарную основу исследования и включить в рассмотрение доступные в то время документы НКВД–МВД СССР, главным образом за 1941–1946 гг. По материалам, полученным Формозовым от бывших узников ГУЛАГа, Осипова составила список "наиболее известных" массовых выступлений заключенных с 1942 по 1956 г. В этот перечень было включено 17 эпизодов, часть из которых впоследствии была документирована в архивных публикациях и профессиональных исследованиях историков, другие – так и остались полуполюгендарными [Сопротивление... 1992].

Этот опыт нельзя назвать уникальным: аналогичная информация может быть найдена у Солженицына или, например, в старых и новых изданиях НТС, в публикациях А. Грациози [Graziosi, 1992; Коммунистический... 1998; Сопротивление... 1992]. Проблема заключается в том, что подобные списки, основанные на мемуарных свидетельствах, некритически воспринимаясь профессионалами, попадают в учебную и научно-популярную литературу, в периодическую печать. В 1990-е гг. некоторые легенды, мифы, слухи, невнятные припоминания очевидцев, так и не пройдя профессиональной исторической экспертизы, преждевременно получили клеймо исторической подлинности.

Унификация режима и подавление протестов заключенных (конец 1920-х – 1941 гг.)

В свое время, перечисляя способы сопротивления заключенных, Солженицын называл протест, голодовку, побег и мятеж. Однако он подчеркивал, что протесты и голодовки имеют силу только в определенной общественной ситуации. Чтобы они были замечены, необходимо гражданское общество и свободное общественное мнение. Без "соучастия" населения эти способы отстаивания интересов заключенных заведомо обречены. Неудивительно, что формы сопротивления, широко распространенные среди политических узников в царской и советской России (до начала 1930-х гг.), практически сошли на нет в годы "большого террора". Добитый в это время Сталиным "политический" ГУЛАГ погрузился в молчание – вплоть до начала войны с Германией. Что же касается более активных форм протеста (например, организованных восстаний, забастовок, мятежей и бунтов политических заключенных), то они приобретут невиданный размах и даже превратятся в фактор большой политики лишь после окончания Великой Отечественной войны и особенно после смерти диктатора в 1953 г. Главную причину этого писатель видел все в том же "заклятье" – отсутствии в стране общественного мнения, без которого "мятеж даже в огромном лагере – не имеет никакого пути развития" [Солженицын, 1989, с.100–104].

Развивая в целом правильную мысль, Солженицын не учитывал исторический контекст, не рассматривал протестную активность заключенных в рамках общего процесса архаизации советского социума, отброшенного сталинской "революцией сверху" на многие десятилетия назад. Между тем в традиционном обществе массовые протесты играют большую роль и выступают в качестве системы обратной связи, обеспечивающей управление в экстремальных и кризисных ситуациях². Для функционирования подобной системы общественное мнение не требуется. Более того, его существование даже не предполагается. Протесты заключенных в этом случае вписываются в систему патерналистских взаимоотношений, в принципе враждебную любым институтам гражданского общества и предполагающую прямое "обращение" подданных с высшей властью – без посредничества общественного мнения.

Суть изменений, привнесенных Сталиным, сводилась, однако, не просто к архаизации общественной системы вообще и пенитенциарной системы в частности. В отношениях с политическими узниками он встал на путь ликвидации традиционных форм обратной связи "опекаемых" с "верховным арбитром". В конце 1929 г. именно от Сталина руководители карательных органов получили вполне внятный сигнал: игнорировать письменные заявления и протесты политических заключенных и прекратить практику их "препровождения" в ЦК ВКП(б)³. Другими словами, верховная власть не только заблокировала политическим заключенным возможность апелляции к общественному мнению, но и отказалась в своих отношениях с "контрреволюционерами" нести бремя традиционного патернализма. После того, как Вождь Народов сначала объявил себя глухим к эпистолярным протестам заключенных, а затем и к их голодовкам и обструкциям⁴, политические заключенные "нового призыва" практически отказались и от популярных в 1920-е гг. форм борьбы. Начав после 1936 г. массовый

² Подробнее о регуляторной функции волнений и бунтов в СССР см. [Козлов, 1999; Kozlov, 2000].

³ См. записку Сталина Ягоде и Евдокимову от 8 декабря 1929 г. [РГАСПИ, л. 47, 50–54].

⁴ Пример подобной обструкции, описанной тайным осведомителем, опубликован на сайте www.gulag.ru. В 1936 г. «по прибытию на ст. Красноярск троцкистами... была организована к[онтрреволюционная] троцкистская обструкция, сопровождавшаяся пением к[онтрреволюционных] песен, вывешиванием плакатов через окна вагонов с лозунгами "Да здравствует мировая революция и ее вождь Л.Д. ТРОЦКИЙ!", "Долой бюрократию и самозванца СТАЛИНА". Лозунги изготовляли... из красного материала, написаны зубным порошком... Собрав вокруг вагона граждан, проживающих в Красноярске... через окна вагонов произносили к[онтрреволюционные] выкрики и к[онтрреволюционные] выступления: "Долой к[онтрреволюционный] ЦК ВКП(б), возглавляемый СТАЛИНЫМ"».

перевод политических узников из политизоляторов в концентрационные лагеря, власть в свойственной ей символической манере в принципе отвергла любые их притязания на особый политический статус. В обстановке Большого террора и массового уничтожения политических заключенных само допущение того, что подобные протесты хоть сколько-нибудь значимы для власти, выглядело (и было) абсурдом.

Эта перемена была настолько кардинальной, что заключенные из числа идейных противников сталинизма какое-то время не могли осмыслить ситуацию. Они наивно полагали, что их перевод в концлагеря (в ходу был именно этот термин) – своего рода победа, так как "изоляторы становятся оппозиционными университетами". Но подлинная причина была в кардинальном изменении природы сталинского общества. «"Конц" вошел в быт...», – писал в 1936 г. анонимный автор "Бюллетеня оппозиции" [Из Оренбургской... 1936, с. 13]. Сталинизм в 1920–30-е гг. отбросил социум к примитивным формам общественного бытия и вместе с другими атрибутами цивилизации "упразднил" и сообщество политических заключенных. Параллельно сталинская система пыталась разрушить и традиционный "воровской мир", увлеченно культивируя утопические идеи трудовой "перековки" уголовников.

В каком-то смысле можно сказать, что в годы сталинской "революции сверху" "политический ГУЛАГ" мелькнул и исчез подобно Земле Санникова, чтобы уже в новой форме и с новыми жителями появиться из небытия после войны. Началась эпоха "единого ГУЛАГа", для которой были характерны распыление и атомизация его населения, то есть процессы, тождественные тем, что шли на воле. Однако борьба за выживание требовала от человека принадлежности к группе, коллективу. Эти группы возникали и в лагерях, и на воле на руинах прежних человеческих сообществ, и пока заключенные, сознательно или поневоле отвергая то, чему научила их жизнь в прежней, полувелицизированной России, вырабатывали и воплощали в жизнь свои коллективные стратегии выживания, чистый политический протест не мог осуществляться, как не могла существовать в сталинском обществе и "политика" как борьба за свои права в ее прежнем, полувосточном виде.

Во второй половине 1930-х гг. население архипелага искало новые формы борьбы, используя слабость советской пенитенциарной системы – гипертрофию ее *производственных функций*. Жестокость власти смягчалась только ее потребностью в новом и новом "рабочем мясе", а невыносимость рабского труда компенсировалась многочисленными нарушениями режима содержания во имя выполнения производственных планов. В этих условиях инициатива оказывалась в руках не политических (меньшевиков, троцкистов, националистов, монархистов), а уголовников и ссыльных крестьян.

Новые формы борьбы за более благоприятные условия отсидки "неполитическая" часть населения ГУЛАГа начала вырабатывать уже на рубеже 1920–1930-х гг. Они базировались на опыте районов "кулацкой ссылки", где власть отрабатывала "мягкие", "колониационные" формы использования принудительного труда. В начале 1930-х гг. крестьянское сопротивление выражалось главным образом в "антисоветской агитации", массовых побегах из гиблых мест ссылки и спорадическими беспорядками, призванными сигнализировать властям о невыносимости условий жизни, совершенно исключавших приспособление к неволе. Именно такая обстановка сложилась весной 1931 г. в ряде районов Урала, где в то время насчитывалось около 120 тыс. ссыльных. Тяжесть ситуации там признавало даже ОГПУ: «Многие из хозяйственников смотрят на спецпереселенцев, как на мускульную силу, подлежащую безжалостной эксплуатации. Уверенность некоторых из них в том, что "кулак бесправный, защищать его некому", привели к ряду безобразных явлений. Многочисленные случаи издевательств, работа сверх меры и т.д. – в некоторых районах области стали рядовым явлением, и некоторые хозяйственники открыто заявляли, что их политика преследует физическое уничтожение спецпереселенцев». Местные власти устанавливали чрезмерно высокие производственные задания, гоняли на работы детей, стариков и беременных женщин наравне с мужчинами. Массовый характер приобрели моральные и физические издевательства, избиения и безнаказанные убийства ссыльных кре-

стьян. Те ответили индивидуальными и групповыми протестами – отказами от работы, требованиями восьмичасового рабочего дня, увеличения пайков, перевода на заводы или выделения земли для обработки. Волнения, охватившие четыре района, сопровождались нападениями на представителей властей, погромами. Подавить стихийные выступления безоружных ссыльных удалось только с помощью вооруженной силы. Организованные и вооруженные выступления против власти, подобные, например, событиям в Парбигской комендатуре в мае–июне 1931 г., были скорее исключением из правил [ЦА ФСБ РФ^а, с. 119–134; Восстание... 1994^а, с. 128–138].

Волынки, как правило, устраивались "на почве невыносимых условий", а отказы товарищей по несчастью поддерживать бунтовщиков обычно связывались с более сносными условиями их существования [ГА РФ^а, д. 1798, л. 152–152 об.]. Поэтому усилия властей были сосредоточены на расколе и расслоении вверенных им "контингентов", раздроблении единой *протестной воли*. Власти предлагали "хозяйственное устройство" в обмен на добросовестный труд в местах принудительной колонизации. В итоге надежды терпеливых крестьян на собственные силы блокировали организованный социальный протест. Их требования были весьма ограниченными: "Лишь бы места подходили для пашни, да давали хлеба, а тайгу расчистить можно, лес близко, строиться будет легко, земля свежая и хлеб будет родиться" [ЦА ФСБ РФ^а, л. 109].

Относительный успех полицейского умиротворения кулацкой ссылки в первой половине 1930-х гг. убедил власти в эффективности выбранных форм "коррекции" массового поведения в сфере принудительного труда. Подобным образом предполагалось "умиротворить" и ГУЛАГ, который превращался в гигантскую стройку и массовое производство. Производственная эффективность принудительного труда всецело зависела от психологического фактора – надежд заключенных, используемых на важнейших народнохозяйственных объектах, на более высокое "качество жизни" в неволе и/или сокращение срока отсидки в "благодарность" за лояльность и трудовое усердие. Влияние этой системы на спад бунтарской активности очевидно. Понятно, что если бы перед властью стояла только задача обеспечения порядка в лагерях или же уничтожения заключенных, то контролировать поведение последних можно было бы, не утруждая себя заботой об их моральном состоянии. Доведите людей до истощения, и они окажутся просто *не способными на протест*. Но поскольку правящая верхушка СССР чем дальше, тем больше делала ставку на увеличение трудового вклада заключенных в "строительство социализма", а точнее – пыталась сочетать репрессивную и производственную функции ГУЛАГа, она не могла постоянно форсировать ужесточение лагерного режима и принимала противоречивые решения.

В свою очередь заключенные были вынуждены приспосабливаться к менявшимся правилам игры и находить новые ответы на вызовы власти. В их распоряжении оставалось такое оружие борьбы, как традиционные бунты. В 1930-е гг. происходило немного событий такого рода, но их возможность помогала держать власти в состоянии некоторого напряжения. Документы НКВД зафиксировали и существование невнятных и, как правило, организационно не оформленных повстанческих настроений в лагерях. Эти настроения, сопровождавшиеся соответствующими высказываниями, были известны лагерным оперативникам. В обстановке Большого террора они склонны были "оформлять" подобные эпизоды как контрреволюционные заговоры и организации.

Индивидуальные и групповые отказы от подневольного "труда на благо Родины" в конце 1930-х гг. стали массовой формой сопротивления гулаговского населения (в основном, его неполитической части) эксцессам в пенитенциарной политике властей. Речь идет о реакции заключенных на отмену так называемых *зачетов рабочих дней*, вычитавшихся из общего срока заключения. 15 июня 1939 г. НКВД отменил практику зачетов и условно-досрочного освобождения в лагерях. Вскоре третий отдел ГУЛАГа отметил "резкое сопротивление" этому мероприятию и связанное с ним распространение побегов, злостного саботажа, организации эксцессов и неподчинения распоряжениям администрации. Особенно тревожило то, что "заключенные, осужденные за ан-

тисоветские преступления, ведут активную агитацию среди хорошо работающей части лагерников, склоняя их к групповым отказам от работы, невыполнению норм и ссылаясь при этом на отсутствие перспектив досрочного освобождения". С одной стороны новый "производственный наркомат" – НКВД – получил возможность подольше распоряжаться своими специфическими "кадрами", с другой – эти "кадры" явно не приняли предложенного вместе с новым "кнутом" убогого "пряника": улучшения материально-бытовых условий и предоставления льгот отлично работающим заключенным [ГА РФ, л. 204].

Власть ответила террором. Были вынесены показательные смертные приговоры в отношении некоторых "злостных отказчиков" и подстрекателей. Однако, как показали последующие события, репрессии не решили проблемы, и на протяжении 1940-х гг., руководствуясь производственными соображениями, сначала "в порядке исключения", а потом на все более систематической основе, начальство вынуждено было вернуться к практике зачетов рабочих дней. Фактически это один из наиболее важных примеров *успешного сопротивления* узников ГУЛАГа неприемлемым для них условиям заключения. Тысячи надежд, разбитых отменой зачетов, обернулись для власти пассивным массовым сопротивлением, подрывавшим устои созданного при Сталине "экономического уклада".

"Бунтовщики" и "патриоты": размежевание лагерного сообщества в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

С началом войны обстановка кардинально изменилась, возникли условия для распространения активных форм организованного сопротивления и борьбы. Заключенные, особенно осужденные за контрреволюционные преступления, вполне обоснованно опасались, что наступление немцев может спровоцировать акции массового уничтожения в лагерях, оказавшихся в непосредственной близости от районов боевых действий. Этот страх стал важным фактором сплочения и консолидации перед лицом смертельной угрозы. Широко распространились слухи о некоем секретном приказе НКВД – уничтожать заключенных в случае приближения немцев. Они основывались как на подлинных фактах расстрелов заключенных, так и на долетавших до эков разговорах охранников о секретных совещаниях оперативного состава, на которых якобы зачитывался какой-то секретный приказ НКВД о превентивных расстрелах.

Среди документов, хранящихся в Государственном архиве РФ, не удалось обнаружить ни самого приказа, ни ссылок на него. Тем не менее слухи об угрозе составили один из ключевых компонентов новой социально-психологической реальности ГУЛАГа, коллективной мобилизации и самоорганизации заключенных. Наиболее активная часть лагерного населения (по крайней мере, там, где начинавшийся голод еще не привел заключенных к истощению и апатии) пыталась заранее побеспокоиться о спасении своей жизни и подготовиться к худшему варианту развития событий. Многочисленны свидетельства того, что лагерная администрация, не дожидаясь обострения обстановки, наносила превентивные удары по потенциальным очагам сопротивления. В ряде случаев мы имеем дело с очевидной (официально опровергнутой впоследствии) фабрикацией "заговорщических" дел, в частности по "немецкому повстанчеству" 1941–1942 гг. Но некоторые другие уголовные дела отражают реальные настроения в лагерях, готовность сопротивляться, пока голод и болезни еще не лишили заключенных сил.

Помимо новых угроз, повышавших повстанческий потенциал ГУЛАГа, война открывала заключенным и новые перспективы. Появлялась возможность освободиться, восстав навстречу немцам. В начале декабря 1941 г. оперативный отдел ГУЛАГа отметил активизацию в лагерях контрреволюционных элементов. В списке раскрытых повстанческих организаций значатся 24 подпольные группы и организации из

12 лагерей⁵. Количественный состав раскрытых групп колебался от 15 до 50 человек. В большинстве своем подпольщики компактно объединялись по политическому и национальному признаку: бывшие участники контрреволюционных организаций, осужденные за антисоветскую деятельность, бывшие командиры РККА, немцы, осужденные за контрреволюционные преступления, заключенные, доставленные из прибалтийских республик. Лишь в отдельных случаях подпольные организации имели смешанный состав. Главными целями подпольщиков назывались организованное выступление заключенных, разоружение стрелков военизированной охраны и групповые вооруженные побег. В зависимости от географического положения повстанческие группы готовились приурочить выступление либо к моменту захвата немцами Москвы, либо к нападению Японии на Советский Союз. Иногда участников групп обвиняли в подготовке штурмовых групп, в намерении оказать помощь немецким десантам и т.п.

В конце декабря 1941 г. ГУЛАГ информировал руководство НКВД уже о 70 выявленных и ликвидированных с начала войны повстанческих группах и организациях в 28 лагерях. Активными участниками подобных групп были признаны 650 заключенных. Особо сообщалось о повстанческой организации из бывших военнослужащих в Норильском ИТЛ, подготовлявшей в ночь с 23 на 24 ноября 1941 г. вооруженное выступление заключенных совместно с трудпоселенцами с целью захвата власти в Норильске. Повстанцами было тайно изготовлено на механическом заводе комбината 20 корпусов гранат, кинжалы и когти для повреждения проводов связи. Памятуя о специфических навыках чекистов по фабрикации подобных дел, было бы крайне опрометчиво только на основе официальных документов делать заключения о серьезности повстанческих намерений в лагерях. Трудно, например, поверить в существование целых трех повстанческих групп в умиравшем от голода Кулойском лагере (Архангельская область), где в ноябре 1941 г. имели место даже случаи людоедства [ЦА ФСБ⁶, д. 48, л. 6–8]. Однако и игнорировать подобные свидетельства, совсем исключать их из рассмотрения как фальшивки, состряпанные спасавшимися от фронта оперативниками, как это часто делается в мемуаристике, тоже нет достаточных оснований.

На мой взгляд, критерий оценки информации о распространенности повстанческих настроений в лагерях может быть только один – документальное подтверждение не намерений, а действий заговорщиков (изготовление оружия, запасы продовольствия и т.п.), фактов групповых вооруженных побегов и восстаний. Собираание подобных материалов – дело чрезвычайно трудное, если не безнадежное. Раскрытие подпольной группы было для лагерных чекистов очевидным и бесспорным успехом, о котором спешили известить начальство, но вооруженный побег, да еще сопровождавшийся жертвами среди охраны, был столь же явным и очевидным провалом, который старались замолчать.

Находки последнего времени, в частности опубликованные в статье Осиповой архивные материалы о так называемом "ретюнинском восстании" начала 1942 г., заставляют с большим доверием отнестись к сообщениям лагерных чекистов о повстанческих группах, раскрытых после начала войны [Спротивление... 1992]. В то же время приписывание лагерным заговорщикам политически ясных целей (поднять лагерь на встречу немцам или японцам и т.д.), скорее всего, следует расценивать как плод грубой "следственной работы", превращавшей подготовку группового вооруженного побега, имевшего очевидные цели, в приготовления к вооруженному восстанию под надуманными и невнятными политическими лозунгами.

Если судить по документам ГУЛАГа, рост повстанческих настроений в лагерях коррелировал с обстановкой на фронте. Первая вспышка таких настроений была

⁵ Нижне-Амурский, Унженский, Сибирский, Печорский, Кулойский, Усольский, Северо-Железнодорожный, Устьвымский, Ухтожемский, Норильский, Онежский, Красноярский. Судя по бюрократическому намеку ("...и других лагерях") список лагерей и раскрытых организаций был неполным; некоторые, очевидно, находились в агентурной разработке.

осенью–зимой 1941 г., вторая – во время летнего немецкого наступления 1942 г. В докладной записке об усилении контрреволюционных проявлений в ИТЛ от 19 августа 1942 г. было перечислено около 25 раскрытых чекистами в лагерях и колониях подпольных групп и организаций, готовивших "вооруженные выступления заключенных к моменту ожидаемого ими приближения германских войск". Кроме того, в пяти ИТЛ и колониях была раскрыта подготовка групповых вооруженных побегов "с целью перехода на сторону германско-фашистских войск". Из 13 подпольных групп и организаций четыре были созданы немцами, две – литовцами, семь – "контрреволюционерами" (от бывшего эсера до "троцкистов"), одна – "в прошлом офицером" Красной армии [ЦА ФСБ⁶, д. 48, л. 83].

Судя по всему, летом 1942 г. дальше разговоров и дискуссий о положении на фронте повстанческие настроения в лагерях не пошли. Ни о каких практических действиях "заговорщиков", кроме нескольких перехваченных листовок (Краслаг, Кривошековская исправительно-трудовая колония, Новосибирская область) и невнятного сообщения о попытке установить конспиративную связь с другим лагпунктом (Ирбитский лагпункт Восточно-Уральского ИТЛ), неизвестно. Большее доверие вызывает информация о пораженческих разговорах в лагерях, слухах о возможных акциях массового уничтожения заключенных в случае приближения немцев. Таким образом, в 1942 г. дух активного сопротивления был практически подавлен, "изъяты" все находившиеся в оперативной разработке потенциальные повстанцы. В большинстве своем это были "кадры" старого ГУЛАГа.

Однако вскоре в лагерях обнаружили свое присутствие новые социальные типы. Это были имевшие боевой и уголовный опыт военнослужащие Красной армии, осужденные за контрреволюционные преступления (измена Родине и т.п.), а также коллаборационисты, пособники фашистов. Многие из этих людей были непримиримыми противниками коммунистического режима. "Новое вино" в старых мехах ГУЛАГа быстро набирало крепость. Уже в сентябре 1942 г. чекисты высказывали опасения, связанные с активной подготовкой вооруженных выступлений бывшими военнослужащими Красной армии, "осужденными во время Отечественной войны за дезертирство, сдачу в плен противнику и контрреволюционные преступления". А летом 1943 г. оперативный отдел ГУЛАГа сообщил о целой серии раскрытых в лагерях "контрреволюционных групп и организаций, состоявших из бывших военнослужащих, осужденных в период Отечественной войны" [ГА РФ⁷, оп. 8, д. 2, л. 76]. Практически все эти группы занимались подготовкой организованных групповых побегов, то есть шли по стопам М. Ретюнина. Но гораздо более важным для будущего ГУЛАГа было то влияние, которое новые пополнения оказали на расстановку сил в лагерях. Их появление ускорило процесс внутреннего группирования и структурирования заключенных. Поступившие в 1943 г. новые этапы заключенных, осужденных за измену Родине и пособничество немецким оккупантам (бургомистры, полицейские, старосты, чиновники и др.), усилили тревоги лагерного начальства. Чекисты не без основания полагали, что в ситуации, когда исход войны еще оставался неясным, наиболее энергичная, сильная и подготовленная часть новых пополнений также попытается организовать подполье в лагерях и займется подготовкой групповых вооруженных побегов, даже попытается совершить диверсионные акты на строительстве оборонных предприятий. Но гораздо более важным для будущего ГУЛАГа было то влияние, которое оказали новые пополнения на традиционную расстановку сил в лагерях. Их появление ускорило процесс внутреннего группирования и структурирования в лагерях.

По мере приближения успешного конца войны "повстанческие настроения" в лагерях пошли на убыль. В 1944 г. только сумасшедшему могло прийти в голову не то что готовить восстание навстречу немцам, но даже и обсуждать такую возможность. Тем не менее лагерные чекисты время от времени раскрывали "контрреволюционные заговоры" [ГА РФ⁸, д. 2065, л. 267; ГА РФ⁹, оп. 8, д. 5, с. 124–124 об.].

Оценивая повстанческие настроения в лагерях в годы войны, тенденцию к организации массовых вооруженных побегов, следует сказать, что эта опасность была

чекистами отчасти блокирована, отчасти преувеличена. Повстанческие настроения отдельных групп политических заключенных в лагерях не имели сколько-нибудь широкой поддержки и шансов на успех. Это объяснялось как голодом и дистрофией, не оставлявших физических и моральных сил для сопротивления, так и тем, что "положительный контингент", в который входили осужденные по малозначительной контрреволюционной статье – 58-10 (то есть "за разговоры", "ни за что" или, как некоторые из них полагали, "по ошибке"), был в массе своей настроен *патриотически*. Документы 1941–1945 гг. в целом подтверждают мысль Солженицына о сложной моральной коллизии, с которой столкнулись многие заключенные: бороться теперь с режимом – значит помогать немцам? Война отнимала даже у политических узников способность к внутреннему протесту [Солженицын, 1990]. В целом гулаговский социум оказался маловосприимчив к идее сотрудничества с немецкими захватчиками.

Еще более значимым "умиротворяющим" фактором было появление у "обычных заключенных" легальных шансов на восстановление своего гражданского статуса. Перспективу освобождения открывала либо "безвредность" и "ненужность" (от неработоспособных заключенных, причем не только с малыми сроками заключения, начальство старалось поскорее избавиться⁶), либо мобилизация в Красную армию. Судя по справке ГУЛАГа, мобилизации заключенных были массовым, социально значимым явлением. По неполным данным, ИТЛ и колонии НКВД досрочно освободили и передали в армию 990 тыс. человек. Отмечалось, что большому количеству бывших заключенных были присвоены офицерские звания, некоторые приняты в ВКП(б). Заключенные в период эвакуации и отступления неоднократно участвовали в боях с противником, из их числа формировались даже диверсионные группы [ГА РФ⁶, оп. 64, д. 687, с. 2–6; ЦА ФСБ⁶, д. 144, л. 159, 164].

Слабость повстанческого потенциала "единого ГУЛАГа", в котором в годы войны было перемешано самое разношерстное "население", в принципе не способное на массовые и солидарные действия, характеризовала лишь одну сторону процесса, позволяющего некоторым адептам сталинской системы говорить об особом вкладе ГУЛАГа в Победу. Другая сторона того же процесса – глубинные изменения в гулаговском социуме, подготовлявшие будущий кризис и разложение всей системы лагерного хозяйства и образа жизни.

Деформации режима и появление привилегированных слоев заключенных

По мере увеличения производственной нагрузки (а именно в годы войны ГУЛАГ окончательно оформился как производственное ведомство, ответственное за решение важнейших народнохозяйственных задач) жесткие требования режима в лагерях и колониях все больше отступали перед соображениями производственной необходимости. Прагматические решения усиливали возможность эксплуатации труда заключенных, ослабляя гнет "режима содержания".

На совещании руководящих работников НКВД СССР о положении в ИТЛ в сентябре 1943 г. звучало даже предложение "поставить дело таким образом, чтобы заключенные переводились на положение вольнонаемных до конца отбытия срока наказания, т.е. составить из них вроде трудовых батальонов, чтобы они вторую половину наказания отбывали на положении вольнонаемных людей, т.е. предоставить неограниченную переписку, свидания с родными, получение посылок и т.д." [ГА РФ⁶, д. 2412, л. 90]. Как отмечалось в докладной записке начальника ГУЛАГа от 20 июля 1946 г., результатом было нарушение раздельного содержания заключенных, совершивших легкие и тяжкие преступления в колониях и лагерях. В условиях более легко-

⁶ В конце 1943 г. начальник ГУЛАГа предлагал руководству НКВД "освободиться от ненужной части заключенных, содержащихся в лагерях..., т.е. таких, которые пользы никакой не приносят". Речь шла об освобождении примерно 200–250 тыс. человек [ГА РФ⁶, д. 2412, л. 90].

го режима содержалось "свыше 500 тыс. заключенных, осужденных... за такие преступления, как измена Родине, контрреволюционные и особо опасные". В докладной записке были зафиксированы существенные изменения пенитенциарной практики сталинского режима. Руководители ИТЛ (производственных и строительных), с которых спрашивали в первую очередь за выполнение плана, а не за режим содержания, в годы войны начали забывать, что "они в первую очередь являются начальниками мест заключения, призванными на том участке обеспечивать государственную безопасность и осуществлять политику". МВД по всей вероятности осознавало серьезность проблемы и устоячивость "производственных" приоритетов у гулаговской бюрократии, а потому предлагало лагерной администрации руководствоваться отныне "интересами государственной безопасности и принципами исправительно-трудовой политики, может быть даже с некоторым ущербом для производства" [ГА РФ^б, д. 2437, л. 409–413].

Для нашей темы важно зафиксировать сам факт беспрецедентного перемешивания по "производственной необходимости" различных категорий заключенных, так же как и многочисленные нарушения в режиме содержания. Уже в феврале 1942 г. ГУЛАГ отмечал массовое расконвоирование осужденных за контрреволюционные преступления, которое, "в связи с усилившейся в последнее время контрреволюционной работой антисоветских элементов в лагерях", могло "привести к нежелательным последствиям" [ЦА ФСБ^б, д. 48, с. 9–12]. Тем не менее бремя повышенной ответственности за выполнение производственных заданий продолжало толкать гулаговскую бюрократию к прагматическим решениям. Эти решения усиливали возможность эксплуатации труда заключенных, но при определенных и, надо сказать, выгодных для обеих сторон условиях ослабляли гнет "режима содержания".

Однако окончательно решить свои производственные проблемы за счет смягчения режима содержания гулаговское начальство было не в силах. Очевидное и резкое ухудшение продовольственного и вещевого снабжения лагерей в годы войны, обострявшее для заключенных проблему физического выживания, а в ряде случаев – приводившее к массовой смертности, само по себе снижало стимулирующую роль "поблажек". Кроме этого, ГУЛАГ постоянно терял свой "положительный контингент", уходивший в Красную армию⁷. На смену "положительному" лагеря получали контингент вполне отрицательный, во всяком случае по гулаговским меркам. Среди новых пополнений доминировали осужденные по политическим статьям и особо опасные уголовные преступники. Их совокупная доля в общей численности населения ГУЛАГа выросла с 27% в 1941 г. до 43% в июле 1944 г. [ГА РФ^а, оп. 1, д. 68, л. 9]. Изменников Родины, власовцев, членов боевых вооруженных формирований, украинских и прибалтийских националистов, особо опасных уголовных преступников уже невозможно было увлечь ни перспективой освобождения через мобилизацию, ни, тем более, патриотической пропагандой.

ГУЛАГ матерел и озлоблялся, идущие там социальные процессы приобретали, с точки зрения властей предрежащих, все более негативную динамику. Наблюдалась консолидация заключенных по уголовным, политическим, этнополитическим и этническим признакам. На пересечении интересов лагерной администрации, озабоченной выполнением производственных задач и поддержанием "порядка" и "дисциплины" любой ценой, и отколовшихся от традиционного воровского мира уголовных авторитетов, искавших благоприятных условий "отсидки" и решившихся пойти на сотрудничество

⁷ На основании секретного указа от 24 ноября 1941 г. были освобождены осужденные за малозначительные преступления (хулиганы, "бытовики"), беременные женщины и женщины с детьми (кроме "казров" и рецидивистов); бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, совершенные до начала войны, с передачей их в части Красной армии и др. В прифронтовой полосе в случае эвакуации малозначительные уголовные дела прекращались. Все освобожденные призывных возрастов должны были организованно передаваться военкоматам [ГА РФ^б, оп. 64, д. 687, л. 1–16].

ство с лагерным начальством (получивших впоследствии наименование "суки"), возникло *консолидированное преступное сообщество*. На протяжении войны эта группировка захватила неформальную власть в лагерях и успешно паразитировала на гулаговском населении.

"Суки" были не единственной категорией лагерного населения, "делегировавшей" своих представителей в низовую лагерную администрацию и "обслужу". Также поступали некоторые политические ("казры"). Среди этой лагерной "элиты" происходило "перемешивание" контингентов. На основании официальных материалов трудно понять, чем и насколько отличались модели поведения представителей этих двух групп.

В конце войны ГУЛАГ почувствовал первые признаки того, что выведенная им для "легкости управления" и контроля над заключенными порода "сук" или "придурков" выходит из-под контроля, превращается во "вторую власть" и создает больше проблем, чем помогает решить. В 1945 г. стало известно о раскрытии "двух бандитских групп" в Усольском ИТЛ, состоявших из заключенных, осужденных за контрреволюционные и уголовные преступления и работавших на административно-хозяйственных должностях. Пользуясь отсутствием контроля, участники групп "терроризировали лагерное население". Они обвинялись в том, что "умышленно доводили до истощения заключенных, перевыполняющих производственные нормы, водворяли без всяких оснований лучших рекордистов в штрафной изолятор, использовали заключенных 3-й категории на тяжелых работах, выводили на работу больных, занимались систематической припиской незаготовленной древесины, избивали неугодных им заключенных резиновыми дубинками и палками, не давали им положенной нормы продуктов, искусственно создавали промотчиков и отказчиков и ежедневно оставляли в зоне 5–10 здоровых женщин, с которыми сожительствовали". Причиной, из-за которой приемлемое ранее поведение "придурков" было объявлено преступным, стало "усиление массового недовольства среди заключенных". Оно приводило как к появлению групп, готовых дать отпор "второй власти" и побороться с ней за *контроль над зоной*, за право паразитировать на лагерном населении, так и конкретным действиям: "нападениям на бригадиров, мастеров и десятников со смертельными исходами" [ГА РФ^д, оп. 8, д. 5, л. 92–92 (об.)]. Это было чревато хаосом и потерей управления лагерями.

Ресурсы военного ГУЛАГа оказались недостаточно для того, чтобы обеспечить привилегированные условия отсидки всем потенциальным претендентам. Заработал пусковой механизм активного "социального" структурирования еще недавно аморфного, "атомизированного", а потому легко управляемого людского муравейника, начали возникать группировки заключенных для защиты от "правомерного" и неправомерного произвола и первой, официальной, и "второй" власти в лагерях, так же как и для эффективной борьбы за контроль над зоной, то есть за право самим стать паразитами, "второй" властью. Тягу к сплочению и консолидации обнаружили даже политические заключенные, состав которых, как уже отмечалось, кардинально изменился за годы войны. Это новое явление гулаговские оперативники попытались в 1944 г. выразить формулировкой "контрреволюционные авторитеты", намекающей на появление специфических сообществ политических заключенных [ГА РФ^б, д. 2065, л. 267].

Лагерный бандитизм многократно увеличивал предрасположенность ГУЛАГа к волнениям, бунтам и беспорядкам. Существовавшая до сих пор "иммунная система" (выращенные гулаговским начальством "придурки"), призванная предотвращать эти и им подобные явления и процессы, не смогла справиться с вирусом террора, беспорядков и "бандпроявлений".

Но борьба гулаговцев с "суками", которых, в конце концов, пришлось-таки причислить к "бандитствующему элементу", началась только тогда, когда "отошедшие", занявшие хлебные места в зоне, занялись таким оголтелым грабежом и насилиями, что стали выходить из-под контроля оперативников и провоцировать массовые беспорядки. Жестокие стычки "законников" с "отошедшими", постоянно вовлекавшие в волюнки "положительный контингент", ощутимо отражались на производственной деятельности ГУЛАГа.

Прагматичное отношение высшей власти к "производственному мясу" ГУЛАГа диктовало лагерной администрации правила игры, по которым спрос за план был на первом месте, а ответственность за "порядок", за режим содержания – на втором. На них закрывали глаза как московское начальство, так и (тем более) всеисильные начальники управлений ИТЛ. Поэтому строгие инструкции постоянно нарушались по производственным соображениям. Это в конце концов привело к кризису ГУЛАГа как хозяйственного и пенитенциарного института, к обострению внутренних противоречий системы, терявшей статусную ясность и определенность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Восстание в Парбигской комендатуре. Лето 1931 г. // Исторический архив. 1994^а. № 3.
Восстание в Степлэге (май–июнь 1954 г.) // Отечественные архивы. 1994^б. № 4.
Государственный архив РФ (ГА РФ^а). Ф. А-393. Оп. 43а.
Государственный архив РФ (ГА РФ^б). Ф. Р-7523. Оп. 64. Д. 687.
Государственный архив РФ (ГА РФ^в). Ф. Р-9401. Оп. 1.
Государственный архив РФ (ГА РФ^г). Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 50.
Государственный архив РФ (ГА РФ^д). Ф. Р-9414.
Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. М., 1997.
Иванова Г.М. ГУЛАГ в советской государственной системе (конец 1920-х – середина 1950-х годов). Автореф. дисс. д.и.н. М., 2002.
Из Оренбургской ссылки (Из письма большевика-ленинца) // Бюллетень оппозиции. 1936. № 51.
Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.). Новосибирск, 1999.
Коммунистический режим и народное сопротивление в России. 1917–1991. М., 1998.
Кравери М. Кризис ГУЛАГа. Кенгирское восстание 1954 года в документах МВД // *Cahiers du monde russe*. 1995. Vol. XXXVI. № 3.
Кравери М., Хлевнюк О. Кризис экономики МВД (конец 1940-х – 1950-е годы) // *Cahiers du monde russe*. 1995. Vol. XXXVI. № 1–2.
Нильский М. Воркута. Сыктывкар, 1991.
Печальная пристань. Сыктывкар, 1991.
Попов В.П. Государственный террор в Советской России. 1923–1953 гг. // Отечественные архивы. 1992. № 2.
Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 558. Оп. 11. Д. 170.
Россия. XX век. Документы. ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917–1960. М., 2000.
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960. М., 1998.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Т. 2. М., 1990.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Т. 3. М., 1989.
Сопротивление в ГУЛАГе. Воспоминания. Письма. Документы. М., 1992.
Хлевнюк О.В. Принудительный труд в экономике СССР. 1929–1941 гг. // Свободная мысль. 1992^а. № 13.
Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992^б.
Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ (ЦА ФСБ РФ^а). Ф. 2, оп. 9, д. 45.
Центральный архив Федеральной службы безопасности РФ (ЦА ФСБ РФ^б). Ф. 3, оп. 9.
Craveri M., Formozov N. La résistance au Goulag. Greves, révoltes, évasion dans les camps de travail soviétique de 1920 à 1956 // *Communisme*. 1995. № 42/43/44.
Graziosi A. The Great Strikes of 1953 in Soviet Labor Camps in the Account of Their Participants. A review // *Cahiers du monde russe et soviétique*, 1992. Vol. XXXIII. № 4.
Ivanova G.M. Labor Camp Socialism: The Gulag in the Soviet Totalitarian System. New York–London, 2000.
Kozlov V.A. Denunciation and Its Functions in Soviet Governance: From the Archive of the Soviet Ministry of Internal Affairs, 1944–1953 // *Stalinism: New Directions*. London–New York, 2000.